

Павел Мельников-Печерский

# Именинный пирог



*Часть сборника  
Княжна Тараканова и принцесса  
Владимирская (сборник)*



# Павел Иванович Мельников- Печерский Именинный пирог

*Текст предоставлен правообладателем  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2377525](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2377525)  
Княжна Тараканова и принцесса Владимирская : повести,  
рассказы, письма, очерк / Павел Мельников (Андрей  
Печерский).: Эксмо; Москва; 2011  
ISBN 978-5-699-52030-5*

## Аннотация

«Погода была прекрасная. «Благородные» пешком пошли к Ивану Семенычу. Шел городничий Антон Михайлыч, шел исправник Степан Васильич, шел судья Михайла Сергеич, шел «непременный» Егор Матвеич, шел почтмейстер Иван Павлыч, шли и другие обоего пола «благородные». Две бородки примкнули к бритому сонму чиновных людей: одна украшала красное, широкое лицо Дерюгина, другая густым лесом разрослась по румянному лицу касимовского купеческого брата Масляникова, бывшего прежде целовальником, а теперь управляющего рожновским винным откупом...

Именинник встречал гостей на крылечке. Шумной толпой ввалили они в залу, а там столы уж уставлены

яствами и питиями, задорно подстрекавшими зрение, обоняние и вкус нахлынувших гостей...»

# Содержание

# Павел Иванович Мельников-Печерский Именинный пирог

Это было еще задолго до крымской войны...

В одной из степных губерний, в захолустном городке Рожнове, пришлось мне прожить по одному делу больше месяца.

Однажды в воскресный день после обедни, когда «благородные» обыватели богоспасаемого града Рожнова, приложась ко кресту, поздравляли друг друга с праздником, уездный стряпчий Иван Семеныч Хоринский подошел ко мне.

– Сделайте такое одолжение, – говорил он с какими-то торжественными ужимками, – удостойте чести мой пирожок; Антон Михайлыч будут, Степан Васильич, Михайла Сергеич. Сделайте одолжение, удостойте!.. Сегодня я именинник.

Поздравив именинника, я обещался быть у него непременно.

– Только уж нельзя ли пораньше, Андрей Петрович: мы ведь люди простые, не столичные, привыкли рано. Сделайте милость, теперь же, прямо из церкви.

Затем, посуетившись среди «благородных», Иван

Семеныч в алтарь пошел приглашать духовника своего, рожновского протопopa, отца Симеона. Мимоходом тронул за плечо купца Дерюгина, торговавшего бакалеями, вином и другими жизненными потребностями и занимавшего в ту пору должность городского головы. Дерюгин оглянулся, именинник что-то шепнул ему, и голова с сияющим лицом поклонился стряпчему в пояс.

Погода была прекрасная. «Благородные» пешком пошли к Ивану Семенычу. Шел городничий Антон Михайлыч, шел исправник Степан Васильич, шел судья Михайла Сергеич, шел «непременный» Егор Матвейич, шел почтмейстер Иван Павлыч, шли и другие обо-его пола «благородные». Две бородки примкнули к бритому сонму чиновных людей: одна украшала красное, широкое лицо Дерюгина, другая густым лесом разрослась по румянному лицу касимовского купеческого брата Масляникова, бывшего прежде целовальником, а теперь управляющего рожновским винным откупом.

Расходившиеся из церкви мещане и разночинцы почтительно снимали шапки и низко кланялись шествующему сонму властей, но никто не удостоился ответного поклона. Не гордость, не чванство причиной тому. Попадись благородный один на один любому мещанину, непременно б ответил ему поклоном и дру-

желюбно поговорил бы. Но, шествуя в сонме властей, как поклониться?.. Нельзя!..

Именинник встречал гостей на крылечке. Шумной толпой ввалили они в залу, а там столы уж уставлены яствами и питиями, задорно подстрекавшими зрение, обоняние и вкус нахлынувших гостей.

Люди мелкой сошки: столоначальники, или, как звали их по старине, «повытчики», городской голова, магистратский и думский секретари, учителя со штатным смотрителем, отец дьякон, остались в зале. Чинно рассевшись по стульям, скромно, вполголоса вели они беседу о новейших происшествиях в городе Рожнове: о том, как в ушате с помоями затонула хохлатенькая курочка матушки-протопопицы, как бабушка-повитуха Терентьевна, середь бела дня заглянув в нетопленную баню, увидала на полке кикимору, как повытчика духовного правления Глорианского кладбищенский дьякон Гервасий застал в самую полночь в своем огороде, купно с девицей Капитолиной Гервасиевной. Говорили, обсуждали, а сами с жадностью поглядывали на предстоявшую трапезу.

Гости первой статьи, ранга высокого: городничий, исправник, протопоп, управляющий откупом, судья, «непременный», заседатели уездного суда, почтмейстер, два секретаря из судов земского и уездного, казначей, винный пристав, продолжали шествие в гости-

ную, а там на диване сидела разряженная Катерина Васильевна, супруга Ивана Семеныча, с Анной Алексеевной, городничихой, да с Марьей Васильевной, исправницей. У дивана возле матери стояли два сына Ивана Семеныча, один лет девяти, другой восьми, оба в красных рубашечках, обшитых белыми снурками. Дико смотрели мальчишки: старший мрачно ковырял пальцем в носу, а младший, увидя издали Протопопову бороду, разинул рот, собираясь задать исправную ревку. Он не замедлил, братишка завторил ему, и Катерина Васильевна, схватив сыновей за руку, увлекла их в детскую и минут через пять воротилась к гостям, оправляя помятое платье.

Чай подали. Хоть русский человек до чаю охоч, но, в ожидании будущих благ, гости пили его не до поту лица. Вскоре хозяин пригласил сидевших в гостиной перейти в залу – водочки выкушать.

– Да ты бы сюда велел тащить, – молвил Иван Павлыч, почтмейстер, хвалившийся перед тем, что он всего Волтера наизусть вытвердил. Почтмейстер всем говорил «ты», и оттого все думали, что он вольнодумец и верует не в бога, а в Волтера. Иван Павлыч гордился тем.

– Помилуйте, Иван Павлыч, – с явным замешательством ответил ему именинник, ткнув пальцем по направлению к дивану.



Над диваном висел писанный масляными красками портрет пожилого господина в мундире, с красной лентой через левое плечо и с двумя звездами. Длинный, горбчатый нос и глаза навывкате под наморщенными, щетинистыми бровями сурово глядели из ярко позолоченной рамы.

– Эк чего струсил! – захохотал почтмейстер. – Не живой, авось не укусит!..

– Все-таки подобие, – сдержанно молвил именинник. – Вам что?.. Вы ведь Волтер, а мы христиане.

– Да-с, могу сказать!.. – самодовольно ответил, поглядывая на меня, Иван Павлыч. – Могу сказать, что Волтера знаю... Ты бы, Иван Семеныч, хоть «Оду на разрушение Лиссабона» раскусил, так и не стал бы призраков бояться... Ведь это призрак? – продолжал он, указывая на портрет. – Призрак ведь?.. А?

– Полноте вам!.. – беспокойно проговорил именинник, увлекая нечесаного Волтера к столу с графинами и графинчиками. – Вы бы лучше вот выкушали.

– Можно! – ответил почтмейстер и прошелся по водочке.

– Славная икорка! – заметил городничий, набивая рот хлебом, вплотную намазанным свежей зернистой икрой. – Из Саратова?

– Из Саратова, – ответил именинник.

– Хорошая икра. Что бы тебе, Маркелыч, такую дер-

жать? – сказал Антон Михайлыч стоявшему у притолки городскому голове.

Почтительно подойдя к «хозяину города», голова с низким поклоном и плутовской усмешкой промолвил:

– Несходно будет, ваше высокородие. Сами изволите знать, какой здесь расход.

– Мы бы стали брать, вот Степан Васильич, Алексей Петрович, Иван Семеныч, все...

– Нет, уж увольте, ваше высокородие. Ей-богу, несходно.

Прав был голова: несходно ему было хорошую вещь в лавке держать. Икра за прилавком не залежалась бы, в день либо в два расхватали б ее «благородные» – на книжку. А это значит: «пиши долг на двери, а получка в Твери».

– Пирог подан!.. – возгласил именинник. – Андрей Петрович, Антон Михайлыч, милости просим. Иван Павлыч, а повторить?

– Можно, – ответил почтмейстер и повторил в пятый либо в шестой раз. Ученик Волтера придерживался российского, о виноградном отзывался презрительно, называя его свекольником.

Гости первого сорта вокруг стола уселись, мелкая сошка пили и ели стоя, барыни с Катериной Васильевной удалились в ее комнаты. Нельзя ж при кавалерах прихлебывать настоечки да наливочки.

Зашла беседа о железных дорогах. Стоявший за стульями штатный смотритель с приличной осторожностью осмелился доложить, что было б хорошо и даже необходимо для отечественного просвещения провести железную дорогу в Рожнов. Городничий закинул назад голову и, с презрением взглянув на смотрителя, молвил:

– Ишь чего захотел!

Штатный смотритель поперхнулся куском пирога и с глухим кашлем, наклоняясь и закрывая рот салфеткой, торопливо вышел в переднюю.

– А что ж?.. Недурно бы было, – сказал исправник. – С Волги живых стерлядей сюда бы возили.

Исправник, по собственному его выражению, имея «характер гастрономический», держал повара, привезенного из Москвы, и смотрел на обед как на цель человеческой жизни.

– Часты будут наезды из губернии, – ответил городничий. – Из мундира не вылезай. Да и накладно.

– Правда, – подтвердил сонм благородных. Согласился и гастроном-исправник.

По углам разговоры шли деловые. Только и слышно было:

– К вам послано было отношение, на это отношение вы отвечали...

– А по указу губернского правления...

– Недоимка выросла страшная, хоть ты тут тресни, ничего не поделаешь...

– А казенная палата и посылает указ...

– Ну, и заключить его в тюремный замок!

И за столом разговор с железных дорог на дела перешел.

– Деятельностью могу похвалиться, – говорил исправник. – Загляните когда-нибудь к нам в земский суд, Андрей Петрович, – посмотрите... Тридцать шесть тысяч исходящих!.. И до этого числа, могу сказать, я довел. При покойнике Алексее Алексеевиче редкий год двадцать тысяч набиралось. При моей бытности, значит, в полтора раза деятельность умножилась. Дел теперь у меня... Ардалион Петрович! – крикнул он через стол секретарю земского суда. – Сколько у нас дел?

– По суду? – басом спросил секретарь.

– И по суду и у станowych, всего сколько?

– Тысяча восемьсот шестьдесят девять дел к первому числу показано, – пробасил Ардалион Петрович и хлопнул на-лоб рюмку хересу.

– Возьмите вы это, Андрей Петрович, тысяча восемьсот шестьдесят девять дел. Средним числом хоть по двадцать листов на дело положить... ведь это... двадцать да шестнадцать... семнадцать... ведь это тридцать семь тысяч листов без малого. Да еще

мало я кладу по двадцати листов на дело. Так изволите ли видеть, какова у нас деятельность...

Слова исправника просьбицу означали: когда, дескать, увидите министра, скажите ему: «есть, мол, ваше высокопревосходительство, в Рожнове исправник, Степан Васильич, отличный исправник, деятельный, привел уезд в цветущее, можно сказать, положение».

А вечерком на сон грядущий так исправник мечтал: «Скачет от губернатора нарочный, скачет, скачет, прямо ко мне. «Пожалуйте, говорит, к губернатору для объяснения по делам службы». Еду, разумеется, немедленно, являюсь... А губернатор на шею ко мне. «Поздравляю, говорит, поздравляю, Степан Васильич, поздравляю!» А сам крестик из пакета вынимает, к мундиру прищипливает. Я, разумеется, в плечо его превосходительство, руку ловлю... Не дает. «Лучше, говорит, я тебя в губы»... Заманчиво, черт возьми! ей-богу, заманчиво!.. Какой бы обеднице задал!.. Как свиней кормят пареной репой, так бы всех закормил я трюфелями!.. Пирогов бы страсбургских выписал, омаров... На каждого по пирогу да по цельному омару!.. Такими бы дюшесами стол изукрасил, что кто б ни взглянул, так бы и обомлел».

Пиршество меж тем продолжалось. Именинник торопливо перебегал от гостя к гостю, упрашивая, ровно бог знает о какой милости, побольше покушать. На-

прасно он хлопотал, и без того гости охулки на руку не клали. Исчезло со столов пять кулебяк с вязигой да с семгой, исчез чудовищный осетр, достойный украсить обеденный стол любого откупщика; исчезли бараньи котлеты с зеленым горошком и даровые рябчики, нашпигованные не вполне свежим домашним салом. Все исчезло в бездне «благородных» утроб... Со славой те утробы поспорили бы с утробами поповскими... Про них, к общему удовольствию гостей, рожновский Волтер, обращаясь к отцу протопопу, сказал: «Сидит поп над Псалтырью, другой поп с ним рядом. «Что б означало, – спросил один: – бездна бездну призывает?» Другой отвечает: «Это, говорит, значит: поп попа в гости зовет».

Из-за стола встали грузны. Волтер хотел было домой идти, но, отыскивая картуз, сел нечаянно на стул у окошка и тотчас заснул. Духовенство ушло, вслед за ним и мелкая сошка.

Оставшиеся завели речь про губернаторскую ревизию, потом заговорили о портрете, висевшем в гостинной именинника.

– Расскажи, Иван Семеныч, про портрет-от, – сказал городничий.

– Да вы ведь уж знаете, Антон Михайлыч, – несмело отозвался Иван Семеныч. – Зачем же повторять?

– Да вот наш гость дорогой, Андрей Петрович, не

знает.

– Эх, – воскликнул Иван Семеныч, махнув рукой. – Не понять Андрею Петровичу!.. Мы ведь люди простые, степняки, не петербургские... Нет уж, Антон Михайлыч, – пушай его висит!.. Бог с ним!.. Мы ж теперь маленько подгуляли... Нехорошо в таком виде про такие дела говорить.

Неотступные просьбы поколебали именинника. Тихо подошел он к гостинной, осторожно притворил дверь и уселся в кружок. На лице его заметно было душевное волнение. Положил он широкие ладони на колени, свесил немного голову и, помолчавши, вполголоса начал рассказывать:

– Его превосходительство Алексей Михайлыч Оболдуев, наш губернский предводитель, – его, Андрей Петрович, вы, конечно, имеете честь знать, – изволили лет пять тому назад в Рожновском уезде с аукциона купить заложенное и просроченное имение гвардии поручика Княжегорского, село Князово с деревнями... В том селе дом был старый-престарый, комнаты-сарай, потолки со сводами, стены толстые, ровно московский Кремль. В стары-то годы, знаете, любили строиться прочно, чтоб строенью веку не было. Толсто, несуразно, зато прочно выходило.

Дом у Княжегорского был запакощен хуже не знай чего. Когда в нашей губернии вторая бригада вось-

мой дивизии стояла, он его под военный пост отдал. И стены, и полы, и потолки в таком виде после христоролюбивого воинства остались, что самому небрежливому человеку стоило только взглянуть, так, бывало, целый день тошнит... И в таком-то доме – слышим – его превосходительство Алексей Михайлыч желает по летам проживать. Очень ему понравилось местоположение Княжова.

С диву пали. «Как же это, думаем, его превосходительство Алексей Михайлыч, особа обращения деликатного, воспитания тонкого, в вертепе станет жить?» Однако ж года через полтора его превосходительство, можно сказать, восьмое чудо сотворили: из запакостенного дома такой, могу вам доложить, соорудили, что хоть бы в Петербург возле государева дворца поставить. Зимние сады, цветные стекла, бронзовые решетки, карнизы, из белого камня сеченные. Не дом – чертоги.

Так и ахают все, а его превосходительство Алексей Михайлыч изволят говорить: «подождите, то ли еще будет». И выписали они из Риги немца – Карла Иваныча, чтобы он княжовский дом живописью украсил. Приехал Карл Иваныч, а был он немец настоящий, ни единого то есть слова по-русски не разумел. После наторел, а на первых порах ровно полоумный был: ты ему говоришь дело, а он выпучит глаза да головой мо-



тает. Смешной был немец!

Чего только он не натворил: потолки расписал, нагих Венер, Купидонов и других языческих богов намалявал, и все-то они выштли у него народ здоровенный, матерой, любо-дорого посмотреть!

Живучи в Княжове, Карл Иваныч в Рожнове частенько бывал.

Подружился я с ним, когда он по-русски стал понимать. Мастер наливки делать и все по рецептам. И меня теми рецептами снабдил. Наливочки, смею полагать, изряднехоньки. Андрей Петрович, сливяночки не прикажете ли, али вот поляниковки!.. Деликатес, могу доложить!..

Однажды приезжает немец в город прямо ко мне.

– Что, говорю, Карл Иваныч, зачем бог принес?

– Дельце, говорит, Ифан Си мои ишь, есть.

– Какое дельце?

Пошел немец рассказывать.

Дело вот какое было. В ихней Немечине, в самой то есть настоящей Немечине, в Ревеле, сродник помер у Карла Иваныча, и ему доводилось наследство получить. А как получить – не знает. По дружбе взялся я ходатайствовать, доверенность взял у него и пошел в Немечину бумаги писать. Возни много было, немцы – народ ремесленный: законов не понимают... И присутственны-то места у них не как у людей: «оберге-

рихты» да «гутманы», сам черт не разберет!.. А Карл Иваныч горячка: ему б в один день наследство взять безо всякой переписки. «Нет, говорю, брат, шалишь, не в порядке будет, ты повремени, а я стану писать, как следует». Насилу мог урезонить. Наставивши его на должный порядок, без малого полтора года вел его дела. Выслали напоследок Карлу Иванычу из ревельской Немечины шестьсот целковых.

Зарадовался. На козых своих ножках так и подпрыгивает, ручонки так и потирает...

– Сколько, говорит, надо, Ифан Симон ишь, благодарности?

А я ему:

– Бог с тобой, Карл Иваныч! С ума ты, что ли, спятил... Я хлопотал по дружбе, денег не возьму.

А он:

– Да мне, говорит, совестно, Ифан Симонишь.

Хороший был человек, даром что немец, совесть знал.

– А коли, говорю, совестно, так подари картинку своего писанья.

Так и запрыгал... Руку мне пожимает, меня же благодарит, что картину у него потребовал... Слезы даже на глазах выступили. А не тому рад, что деньгами мне не поплатился. «Мне, говорит, то дорого, что вы, Ифан Симонишь, искусство любите».

А я ему:

– Уж там, брат, люблю ли я, нет ли, а картинку-то мне подай.

– Есть, говорит, у меня «Разбойник венецианский», младенца режет, да есть, говорит, «Итальянское утро», да есть, говорит, губернаторский портрет.

Разбойника взять поопасился. По должности неприлично... Стряпчий... У царского-то ока да вдруг разбойник в доме заведется?.. Хоть и не русский, а все нехорошо... Опять же супруга каждый год тяжела бывает, неравно на последних часах взглянет на «Разбойника» да испугается... Портрет взять, думаю, будет не по чину, смеяться бы не стали: «Какая-нибудь, дескать, пигалица, уездный стряпчий, а тоже подобие его превосходительства у себя имеет». Давай, говорю, «Итальянское утро». На том и решили.

Добрая неделя прошла, а «Утра» нет как нет... Стал я подумывать, не надул ли меня немец, по губам только не помазал ли? Однако ж нет, везут из Княжова ящик аршина два длины, полтора ширины. Вот оно «Утро»-то!.. Честный человек, не надул.

Жену кликнул... Гляди, мол, «Утро» привезли. Дети прибежали.

– Папася, папася, – голосят, – это пастила, что ли?

– Нишкните, говорю, какая тут пастила! Тут «Итальянское утро»: солнышко восходит, коровки идут,

пастушок на свирелке играет.

Ребятишки так и запрыгали: один кричит: «папаса, мне коловку!», другой голосит: «папаса, патуська!»

Как вскрыл да поставил я картину на стол, так даже ахнул... Этакой ты бесстыжий, Карл Иваныч! К жене-тому человеку да такую пакость!.. Утра-то на картине вовсе нет: стоит молодая девка в одной рубахе, руки моет, рубашонка с плеч спущена, все наружи, рядом постель измятая... И другое житейское – все тут же!

Жена как взвизгнет да всплеснет руками. Плюнула на картину, говорит:

– Срамник ты, срамник этакой, Иван Семеныч!.. На старости лет пакостями вздумал заниматься!.. Я, говорит, отцу Симеону пожалуйюсь, задал бы тебе на духу хорошенького нагоняя, епитимью наложил бы. А меня, покаместь эта мерзость в доме, ты и не знай.

Ушла и дверью хлопнула.

А ребятишки пальцами в картину тычут, кричат: «кормилка! кормилка!» А кучер Гришка, что ящик в комнаты вносил, сзади стоит, ухмыляется да бормочет себе под нос: «ровно кума Степанида».

– Вон все пошли! – крикнул я.

Остался один перед «Утром», разглядывать стал... Бес и ну смущать... Глаза масляные, с поволокой, зубы белые, сама дородная; смугла, зато грудиста, а волосы смоль, как есть смоль черные.

Гляжу-гляжу, а сам чувствую, как грех-от на душу лезет. Мурашки по спине... Дышишь – задыхаешься, в сердце ровно горячей иглой кольнуло тебя. Разбежались глаза... Хорошо намалевано!.. Да где ж «Утро-то итальянское»?

Вспомнил, что в законе, в браке то есть состою – нечего, значит, на чужую красоту глаза пялить... Какую бог послал – той и держись, а на чужую не смей зариться, грешных мыслей не умножай!.. Так господь повелел... «Греховодник ты, греховодник, Карл Иванович! Вот оно в тихом-то болоте черти живут. Тихоня, скромник, бывало на курносую, рябую стряпку взглянет, так весь зардеет, а вот чем занимается!..»

Жену кой-как усовестил, резоны ей представлял всякие: даровому-де, коню, матушка, в зубы не смотрят, а тебе, говорю, опасаться нечего, девка не живая.

Степанидой попрекнула. А я ей:

– Степанида, говорю, матушка, вещь живая, и ты сама знаешь, что я теперь – ни-ни. А это, говорю, картина, вещь бездушная, греха от нее случиться не может.

Так да этак, уговорил Катерину Васильевну повесить картину в гостиной.

Повесили. Только стал я замечать, что моя Катерина Васильевна невесела ходит; каждый раз, что ни пройдет через гостиную, плюнет. Иной раз всплак-

нет даже. Станешь что-нибудь говорить с лаской, она: «Ступай, говорит, в гостиную, там у тебя «Итальянское утро»».

Раздор семейный, несогласие!.. Ах, ты, немец окаянный!

Рождество Христово подошло, с визитами все. Мужчины приедут – с «Утра» глаз не сводят, а барыни – хоть святых вон неси. «Человек вы немолодой, Иван Семеныч, – корят меня, – малых детей имеете, а такой соблазн в честной дом внесли... бога не боитесь!..» И ни одна, бывало, мимо картины не пройдет, чтобы не плюнуть!.. А небось, как у его превосходительства Алексея Михайлыча в Княжове балы бываюют, так из угольной от Аполлоновой статуи наших барынь плетью не отгонишь.

Житья не стало от окаянного «Утра». Отец Симеон началить стал: «Грех, говорит, в одной комнате со святыми иконами богомерзкое изображение держать».

Жаль было картинки. Не бросить же!.. Ежели в гостиной нельзя держать, перенесу ее в заднюю, – маленькая там у меня горенка есть, для прохлады...

Хуже стало. Весь Рожнов заговорил, что царское око в потаенный разврат ударился! Отец протопоп заходил, строго выговаривал.

Провались ты, думаю, окаянный немец, со своим «Итальянским утром»! – Заколотил его в ящик, и на-

зад в Княжово. «Давай, – пишу Карлу Иванычу, – губернатора».

О ту пору, как я «Утро» отправлял, его превосходительство господин губернатор у нас в Рожнове на ревизии был. Приехал грозный и уехал грозный. Такой робости задал, так всех понастроил, что только господи ты боже... Во все сам входил: и сукно на столах охаял, и ковер, говорит, по закону должен быть... За метил, что законы не за замком лежат, что стулья поломаны, на заднюю лестницу даже ходил. Всем досталось, а мне изволил сказать: «Ты ни за чем не смотришь, ничего не пилишь!» Так и сказал... Ей-богу!

Думаю: «Ну как немца да продернет на портрете... Как угораздит его, чертова сына, без орденов изобразить. Повесить нельзя будет его превосходительство. Хуже «Итальянского утра» выйдет».

Везут ящик. Тут я ни жену, ни детей не позвал, вдвоем с Гришкой ящик вскрывали... Ах, ты, немец окаянный... Звезду намалевал, а ленты нет... Да еще во фраке изобразил начальника-то губернии!.. А у фрака-то, можете себе вообразить, лацкан больше чем ползвезды закрывает.

А сходствия много; и смотрит грозно и руку за жилет. Так вот, кажется, сейчас и скажет: «а ты чего смотришь, дурак?»

Повесил я портрет в гостиной над диваном. Спер-

вначале у нас в доме все помирней пошло, и жена меньше ругается и развратом не попрекает. Кто ни придет, всякий, бывало, с почтением взирает. Один Иван Павлыч, ну да он что?.. Волтер, так Волтер и есть.

Заварилось той порой казусное дело. Окружной с откупщиком не поладил, каши ему наварил. Из-за выставок дело пошло. Знаете, выставка пятидесятидневная, а сидят с вином круглый год. Окружной взъерошился, дело поднял. Произвели следствие, в уездный суд представили, плохо откупщику. Сам прискакал... Заметался во все стороны: «отцы, говорит, родные, выручайте». С окружным на мировую, с нами тоже.

Только что уехал он от меня, стою в гостиной, считаю благостыню. Поднял глаза, варом меня обдало! Его превосходительство глаза так и выпучил. «А! мошенник, попался!.. В моем виду берешь!.. А по Владимирке хочешь?.. А?..» Руки с деньгами я за себя, сам думаю: «А в самом деле, неловко в присутствии его превосходительства якобы благодарность получать. Оно, конечно, не в самоличности, однако ж подобие».

Да сыскоса и глянул на портрет... диво, ей-богу!.. Не страшно.

Однако ж, думаю, что ж это за оказия? Стал замечать: никто не боится портрета, даже и ребятишки.



Старший-от у меня побойчее, без робости в гостиную ходит, запрыгает на одной ножке перед портретом, спустит рукава с ручонок да и кричит во все горло: «Альмянин, альмянин, больсеносой альмянин!»

– Какой, – крикну ему, – армянин? Это начальник, ты должен иметь к нему уважение.

А он прыгает да твердит: «Не нацяльник – альмянин!.. Не нацяльник – альмянин»... Да все на одной ножке. Сек два раза – нейметя.

Цесарцы<sup>1</sup> в Рожнов приехали, моя Катерина Васильевна и кликни их... Бабье дело, им бы хоть поглазеть на нарядные вещицы. Разложили цесарцы товары в зале. Жена и ну приставать: купи да купи ей браслетку да брошку. Я сначала будто не слышу, а как надоела, вызвал ее в гостиную, стал урезонивать.

– Образумься, говорю, матушка! Пристало ль тебе, говорю, браслеты да брошки носить? Ведь ты уже не молоденькая!..

Как ругнет меня!.. Да раз, да другой, и пошла и пошла.

– Что ты, говорю, матушка, раскудахталась? Хоть бы его превосходительства постыдилась!

А Катерина Васильевна как захохочет, так даже и

---

<sup>1</sup> Цесарцами назывались мелкие торговцы, развозившие по городам и помещичьим деревням товары и лекарства. Они назывались и «венгерцами».

покатилась.

– Дурак, говорит, ты, дурак... Какое это начальство? Это, говорит, тряпка малеванная! Это, говорит, вот что...

Да как харкнет прямо в нос его превосходительства.

Я так и ахнул... А как прошло время, думаю, что ж это в самом деле? Не похоже разве?

Стал больше замечания держать. Что за шут, прости господи... Никакой робости перед портретом... Что такое?.. До того дошло, что иной раз после пирушки голова развинтится, – тряпку с уксусом приложишь, травничком опохмелишься да, принеся подушку в гостиную, положишь ее на диван, да в халате под портретом и ляжешь. Лежишь да посматриваешь, иной раз даже скажешь мысленно: «Ну что? Ну вот я и пьян, и в суд не пошел, а ты ничего не можешь сделать, даром что губернатор». То есть, я вам доложу, ни малейшей робости. Тут только я догадался, что портрет-от был привезен на другой день после того, как его превосходительство нам копоти задал. Со страху-то на первое время он грозно смотрел и уважение к себе вселял, а как дело-то поулеглось и портрет-от пригляделся, робости и не стало.

Не ловко дело. Ребятишки подрастают, и ежели мальчишки с малолетства не будут уважать начальство, что выйдет из них, как вырастут?.. Сохрани гос-

подь и помилуй от такого несчастья! Взял я отпуск дён на четырнадцать, в губернию поехал. Портрет с собой.

Там узнаю, что его превосходительство новой монаршей милостию взыскан, Владимира второй степени большого креста получить удостоился. Портрет-от, значит, я и кстати привез, другую звезду надо пририсовать.

Живет у нас в губернии Иван Лазарев, цараповский отпущенник. Живописью кормится: вывески по городу пишет и божьим милосердием отчасти промышляет, иконы то есть пишет, и хоша запивает, однако богомаз из наилучших. Портреты, кроме царских да его превосходительства, теперь перестал писать; портретная-де работа совсем подошла и совсем, почитай, перевелась с тех пор, как угораздило немца какого-то штуку выдумать: посадить человека перед ящиком, портрет в ящике сам готов. Ни дать ни взять, как камедиянты яичницу в шляпе стряпают. Нечистая ль сила тут малюет, другое ль что, только эти ящики, – говорит Иван Лазарев, – насущный хлеб у нашего брата отбили... Ведь на вывесках да на божьем милосердии далеко, говорит, не уедешь.

Я к нему, к Ивану Лазареву. Приятеля-то, Карла Иваныча, в нашей губернии тогда уж не было, в Немечину уехал. Говорю Лазареву: «Вот, братец ты мой,

портрет его превосходительства, припиши ты другую звезду, в мундир наряди и в ленту, да в лице величия и строгости подпусти. Заодно уж и золотую раму спроворь».

Поладили за тридцать целковых кругом.

– Смотри же, говорю, не попорти, работа немецкая.

– Помилуйте, говорит, батюшка Иван Семеныч.

Нам немецка работа нипочем. Бывала в наших руках самая даже итальянская. Не самоучкой дошли до искусства, покойником барином из годов Ступину в академическую школу был отдан. Десять лет, сударь, в Арзамасе выжил! Рафаэля можем писать.

– К тому я тебе говорю, Иван Лазарев, что руки-то у тебя больно трясутся.

– Это, говорит, ваше благородие, от пьянства. Запоем пью. А вы не сумлевайтесь; хоша рука и дрожит, однако ж на губернаторских портретах шибко набита. Так я ее, сударь, набил, что вот хоть сейчас в вашем виду зажмурюсь и портрет напишу: в рост – так в рост; поясной – так поясной. Очень много заказывают.

Ждал я недолго. Несет Лазарев портрет. Переделал на диво. Своим добром хвалиться не велят, а тут уж просим извинения... Хорош! утаить нельзя.

Как принес его Иван Лазарев – взглянул я и глаза опустил.

– Спасибо, говорю. Вот твои деньги, вот еще пол-

тинник на водку. Одолжил!..

– Питер, не губернатор, – говорит Иван Лазарев, отступив шага на три и закинувши голову.

– Именно, говорю, хоть в Питер такой портрет.

– Громы, говорит, мечет грозный зев<sup>2</sup>.

– Грозен, говорю, действительно. И зев, говорю, у его превосходительства очень грозен. Зарычит на ревизии – душа в пятки уйдет. Ну, говорю, можно тебе чести приписать, Иван Лазарев, руки у тебя золотые. Жаль только, что руки-то золотые, да рыло поганое. Зачем не в меру пьешь?

– Эх, завей горе веревочкой!.. Прощайте, батюшка, Иван Семеныч. Теперь за ваше здоровье запил Ванька, загулял.

Что ни знаю живописцев, до вина очень охочи. Хоть и Карла Иваныча взять: бывало, так нарежется, что и русскому не суметь! А из господских, что отдают в ученые живописному, все давятся побольше; барин учит человека, а как только выученный малый поступит в барский дом, тотчас и задавится. Ну и убыток.

Привожу домой обновленный портрет, вешаю на прежнее место. Тишина райская пошла. Жена ни гугу,

---

<sup>2</sup> Иван Лазарев в Арзамасе у Ступина учился мифологии, знал про Зевса и Юпитера. Иван Семеныч, не получив классического образования, полагал, что ему он про Петербург да про губернаторский зев говорит.

а дети разревутся – нянька прямо их в гостиную. Покажет на портрет, скажет: «а вон бука-то!». Ребенок и стихнет.

Сами изволите видеть: и величие, и строгость, и важность, все. И две звезды и лента через плечо.

Случится в суд опоздать, так я из спальни через кухню, а мимо портрета не могу. Не вынесу, ей-богу не вынесу!

Да не я один... Помните, Антон Михайлыч, как в прошлом году я получение беспорочной пряжки праздновал. Этак же вот собрались все у меня, Андрей Петрович, только вечером. После ужина затеяли жженку варить. Середь гостиной стол поставили, свечи вынесли, зажгли жженку. Только вдруг вот Антон Михайлыч как закричит: «Убери, Иван Семеныч, убери поскорей!..» Взглянули, а от пламени-то личико его превосходительства так и морщится, так и хмурится. Пошел я к Катерине Васильевне, взял драдедамовый платок и с благоговением завесил портрет.

– Да, сходствие большое, – заметил, затягиваясь «Жуковым», Антон Михайлыч.

– Мечта! – заметил исправник.

– Хороша мечта, – возразил городничий. – А в прошлую ревизию как за мосты да за гати кого-то пудрили? Тоже мечта была?

– Нет, Степан Васильич, – подхватил именинник, –

тут не мечта. На что Иван Павлыч, и тот перед портретом горла зря не распускает. Да где он?

Оглянулись: Волтер, сидя на стуле и склонив на окно буйную голову, спал богатырским сном. Пять экстр приди, десятка два эстафет приезжай, – не добудятся.

– Свалило, – мотнув головой, заметил городничий.